

ГЛОРИЯ ГОЛД

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАКСИДЕРМИСТА



18+

Глория Голд
Возвращение Таксидермиста
Серия «Таксидермия», книга 3

<https://litres.ru/73201699>

SelfPub; 2026

ISBN 1

Аннотация

Пять лет назад майор Громов остановил Таксидермиста маньяка, превращавшего жертв в шокирующие произведения. Теперь Громов сломлен, а в Москве появляются новые, жутко знакомые инсталляции. За ними ученик, жаждущий освободить учителя из лечебницы. Преследование превращается в личную войну, где целью становится сам Громов и его семья.

Параллельно врач Артём Климов, стремящийся к научному открытию, невольно пробуждает сознание Таксидермиста. В финальной схватке в заброшенной церкви Громову придётся стать частью последнего спектакля монстра, чтобы положить конец кошмару. Но настоящая победа окажется горькой, а наследие маньяка живым. Оно возродится в новом, ещё более опасном проекте двух сломленных умов, решивших препарировать саму травму.

Содержание

Пролог. Сад камней	4
Глава 1. Призрак в метро «Красные Ворота»	9
Глава 2. Слепок кошмара	19
Глава 3. Тихий звонок в стекло	28
Глава 4. Надпись на камне	37
Глава 5. Первая линия на бумаге	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Глория Голд Возвращение Таксидермиста

Пролог. Сад камней

Доктор Артём Климов ненавидел тишину «Покровской-Специальной». Это была не тишина покоя, а тишина выжженной, стерилизованной земли. Звук, который здесь царил, был не отсутствием шума, а его подавлением – гулом вентиляции, приглушёнными шагами санитаров, едва слышимым шёпотом нейролептиков в кровотоках пациентов. Это была тишина после битвы, в которой победил бетон, а не жизнь.

Но палата № 13 была тиха даже по этим меркам. Она была эпицентром молчания, чёрной дырой, которая затягивала в себя все звуки, все надежды, все вопросы. Пять лет Артём делал здесь обходы, и каждый раз его охватывало одно и то же чувство – не страха, а глубочайшего, экзистенциального бессилия. Вот он, предельный рубеж медицины и человеческого понимания. За ним – *terra incognita* сломанного разума, на карте которой было лишь одно обозначение: «Антон Воронцов. Кататонический синдром. Без улучшений».

И всё же...

Артём, в отличие от своих циничных коллег, верил не в дефект, а в крепость. Он вырос на трудах Выготского и Лурии, на идее о пластичности мозга. Сознание не разрушилось – оно отступило в самую глубь, завалилось камнями и замерло, чтобы выжить. Его диссертация, которую он с фанатизмом неопита писал здесь, в этом бетонном аду, была посвящена как раз этому: методам не химического подавления, а осторожного «раскачивания» таких замороженных сознаний через сенсорные, невербальные каналы. Ему отказали в официальном одобрении исследования. «Слишком рискованно. Слишком много этических вопросов. Особенно с контингентом Покровской», – сказал заведующим, доктор Светлов, глядя на него поверх очков усталыми глазами человека, который уже давно не верит в чудеса. «Ваша задача – наблюдать и фиксировать ухудшения, доктор Климов. Не играть в спасителя».

Но однажды вечером, делая поздний обход, Артём заметил аномалию. Не на мониторах, показывающих ровную, сонную линию ЭЭГ. На полу. Из крошек чёрного хлеба, упавших с лотка нерадивого санитаря, кто-то выложил на сером, липком от моющих средств линолеуме крошечный, идеально симметричный узор. Три камешка крошки, два комочка пыли, собранные, казалось, с ювелирной точностью. Абстракция? Случайность, созданная сквозняком?

Артём присел на корточки, всмотрелся. Это был цветок.

Стилизованный, но абсолютно узнаваемый – ромашка. Или, может быть, астра. Работа требовала тонкой моторики пальцев, которой у Воронцова, по всем картам и еженедельным осмотрам, быть не должно. Парализованные, атрофированные конечности лежали неподвижно уже годы. И главное – намерения. Хаос не рождает таких форм.

Ледяная искра пробежала по спине Артёма. Он не сообщил об этом дежурной сестре. Он не стал звать Светлова. Он просто медленно, тщательно стёр узор ладонью, почувствовав, как крошки впиваются в кожу. И с этого момента начал наблюдать. Не по протоколу. Не для диссертации. По наитию, граничащему с одержимостью.

Он стал задерживаться в палате на лишнюю минуту после утренних процедур. Говорил в пустоту тихим, ровным голосом, комментируя погоду за окном (узкое, забранное решёткой окошко показывало лишь клочок свинцового неба), звуки коридора. Не ждал ответа. Сеял семена звука в мёртвую землю.

Через неделю он совершил первое, маленькое предательство врачебного долга. Он принёс в палату не лекарство, а предмет. Простой, гладкий, отполированный водой речной камень, холодный и тяжёлый в ладони. Во время измерения давления он небрежно положил его на металлическую тумбочку, в зоне видимости койки, если бы тот, кто на ней лежал, мог видеть. Уходя, намеренно оставил тяжёлую дверь приоткрытой на секунду дольше, впуская в гробовую тиши-

ну палаты далёкий, искажённый эхом гул больничной жизни.

На следующее утро камень лежал не на тумбочке. Он лежал на полу, в геометрическом центре комнаты. А вокруг него, из крупинок розовой соли, которые Артём вчера незаметно рассыпал у койки под предлогом проверки реакции зрачков, был выложен идеальный концентрический круг. Не дрожащий, не кривой. Чёткий, как циркулем выведенный. Как мишень. Или как схема распространения волны от брошенного в воду камня. Или как аура.

Лёд в груди Артёма дрогнул и дал первую, оглушительную трещину. По телу пробежала волна мурашек – не страха, а ликования первооткрывателя, стоящего на пороге неведомого континента. Это не было безумием. Это был диалог. Примитивный, довербальный, но диалог. Сознание в крепости не просто выживало. Оно дежурило у узкой бойницы, наблюдало за внешним миром и, найдя подходящий язык – язык форм, линий, символов – подавало знаки. Оно говорило: «Я здесь. Я воспринимаю. Я – реагирую».

И в тот момент молодой доктор, двадцатисемилетний идеалист, уставший от тишины, смердящего равнодушия «Покровской» и тупой, безысходной тяжести случаев, которые здесь «хранили», принял решение, которое перевернёт жизни десятков людей. Он решил не раскачивать крепость. Он решил постучаться в ворота. И предложить временную амнистию. Тайную, ночную, нелепую и смертельно опасную. Ради науки. Ради победы над непознанным. Ради того, чтобы

вписать своё имя не в историю ухода за овощами, а в историю прорыва. А может быть (и эта мысль приходила к нему позже, в бессонные ночи), просто ради того, чтобы доказать самому себе, что даже здесь, в этой последней, самой тёмной точке, жизнь – или то, что от неё осталось – всё ещё чего-то хочет. Всё ещё тянется к форме, к порядку, к выражению.

Он не спрашивал, чего хочет Оно, этот сгусток тишины и боли на койке. Он уже интуитивно знал ответ. Оно хотело того же, чего хотел всегда. Творить. Упорядочивать хаос. Препарировать реальность и выставлять её диагноз. Артём Климов, сам того не понимая, собирался стать его новым, самым преданным и опасным соучастником. Его проводником в мир, который он когда-то пытался превратить в вечный музей. И первым экспонатом в новой, ещё не написанной главе «Наследия Тишины» должен был стать... он сам.

Глава 1. Призрак в метро «Красные Ворота»

Запах пришёл первым. Он не ворвался, не ударил в ноздри. Он подкрался, как призрак, и медленно, неотвратимо наполнил собой тупиковый тоннель между «Красными Воротами» и «Комсомольской». Запах сладковатый, лекарственный, нездорово-чистый. Он пах не смертью, а её консервацией. Формалином, разбавленным чем-то ещё – может быть, камфарой, может быть, старыми сухими травами. Именно этот странный, узнаваемый букет через несколько часов и станет для оперативников главной уликой, тем самым знаком, от которого похолодеет кровь у каждого, кто хоть краем уха слышал легенды девяностых.

Дежурный электромеханик участка, Владимир Петрович (все звали его просто Петрович), списал его сначала на новое, хвалёное начальством моющее средство для плитки. Потом, когда запах не выветрился к утру, – надохлых крыс где-то в вентиляционной шахте, которых разлагало в тепле труб. Он даже сходил с дезсредством и фонарём, поковырялся в решётке – ничего. А запах крепчал, становясь плотнее, почти осязаемым, как туман. Он въедался в одежду, в волосы. Петрович, человек суеверный и много повидавший за тридцать лет в метро, начал нервничать. В таких закоулках,

куда не доходит свет и толпа, могло случиться что угодно. От самоубийства до криминальной разборки.

И тогда, ближе к полуночи, совершая последний обход перед сдачей смены, он увидел свет. Не яркий, не мигающий аварийный. Мерцающий, неровный, тёплый и живой, будто от свечи или коптилки. Он пробивался из одной из служебных ниш, заброшенной и давно не использовавшейся. Там обычно хранился убогий скарб, который жалко выбросить: сломанные вёдра, облезлые швабры, разобранный на запчасти турникет, пачка пожелтевших плакатов по технике безопасности образца восьмидесятых. Петрович замедлил шаг. Рука привычным движением легла на увесистый фонарь. «Гопники, блин, – подумал он с раздражением. – Опять бухают. Щас я их...»

Он подошёл ближе, направил луч фонаря вглубь ниши.

То, что он увидел, заставило его отшатнуться так резко и нелепо, что он ударился затылком о холодную, облицованную кафелем стену. Звук, который он издал, был не криком, не воплем. Это был тихий, животный хрип, будто у него внезапно, одним движением, отняли весь воздух из лёгких. Фонарь выскользнул из ослабевших пальцев и с грохотом покатился по бетонному полу, луч его забегал по стенам, усугубляя кошмар сюрреалистичной, пляшущей подсветкой.

В нише, в этом забытом Богом и начальством углу, стояла не свалка. Не похабный рисунок на стене. Не следы пьяной посиделки. Стояла Композиция. С большой буквы. Вы-

веренная, продуманная, страшно искусная.

На старом, отслужившем своё станке для проверки турникетов, похожем на гигантские, ржавые весы, были устроены три фигуры. Не живые. Их позы были неестественно скручены, зафиксированы тонкой, почти невидимой на расстоянии проволокой или леской, которая лишь изредка поблёскивала в свете пламени.

Слева сидела, вернее, была усажена кукла. Большая, в человеческий рост, тряпичная, одетая в лохмотья, похожие на одежду бомжа: стёганая ватная куртка, пропитанная грязью, порванные штаны. Лицо её было сшито из бледной кожицы, глаза – пуговицы, но на щеках были нарисованы неестественно яркие красные пятна. В одной тряпичной руке она сжимала бутылку из тёмного стекла с этикеткой «Столичная», в другой – зажатую, как счастливый билет, лотерейку. Выражение этого тряпичного лица было идиотски блаженным.

Справа располагалось чучело собаки. Вернее, нечто, собранное, казалось, из частей нескольких разных животных. Шкура была пёстрой, с проплешинами, лапы не совпадали по размеру. Но оно было собрано с диким, зловещим изяществом. Позвоночник был искусно изогнут в агрессивной позе, оскаленная пасть с клыками из белого пластика была направлена на центральную фигуру. Стекланные глаза сверкали тусклым огнём.

А в центре, на самом «седле» станка, восседал Человек. Вернее, то, что должно было его изображать. Одетый в такие

же лохмотья, но стилизованные под тюремную робу – грубую, полосатую. Его лицо было скрыто. Не капюшоном, не маской. Его лицо было газетой. Старой, пожелтевшей, смятой в несколько слоёв, но так, чтобы хорошо читался заголовок. Петрович, даже в шоке, прочёл его: «ТАКСИДЕРМИСТ ПРИГОВОРЁН К ВЕЧНОМУ ЗАТОЧЕНИЮ». Фотография под заголовком была размыта, но угадывались контуры зала суда. Руки «человека» были протянуты вперёд, ладонями вверх, в немой, отчаянной мольбе или, может быть, в вечном, застывшем обвинении.

Но самое жуткое, что окончательно выбило почву из-под ног у Петровича, было не это. Самое жуткое – это то, как всё это было освещено и оформлено. Сценография. Режиссура.

Вокруг всей группы, на полу, был рассыпан белый порошок. Не хаотично. Им был очерчен идеальный, ровный круг, диаметром метра три. Известь? Мел? Гипс? Он отгораживал пространство инсталляции от остального мира, как магический круг или ритуальное пространство. На стенах внутри круга, на высоте человеческого роста, были тонко, карандашом или углём, нанесены контуры – неясные, тени человеческих фигур, склонивших головы, будто зрители в амфитеатре.

Над головами композиции, на старых, проржавевших крюках, которые когда-то держали вёдра, висели десятки старых, пробитых, пожелтевших билетиков метро. Они были нанизаны на тонкую леску, словно гирлянда или бусы, об-

разуя лёгкий, шуршащий занавес. И они тихо шелестели от сквозняка, идущего по тоннелю.

А в центре этого круга, у ног центральной фигуры с газетным лицом, стояла на полу та самая керосиновая лампа. Не электрический фонарь, не свеча. Старая, походная, со стеклянным колпаком, черным от копоти. Её живое, дрожащее пламя и было источником того самого мерцающего света. И оно отбрасывало на стены ниши, на эти нарисованные тени-зрители, гигантские, пляшущие, уродливо-преувеличенные тени трёх фигур. Тень бомжа с бутылкой росла до размеров великана, тень пёсьей морды с оскалом ползла по потолку, а тень фигуры с газетным лицом, с её простёртыми руками, охватывала всё пространство, как тень распятого.

Это была не сцена насилия. Это был натюрморт. Мрачный, выверенный до миллиметра, бесконечно искусный и бесконечно враждебный. Часовня забвения. Крипта. Или – театр одного актёра, где спектакль уже закончился, и лишь декорации застыли в ожидании вечности.

В этом была своя, извращённая красота. И чья-то страшная, нечеловеческая насмешка. Над системой. Над судом. Над самой идеей забвения.

Петрович, не помня себя, опрометью кинулся прочь. Он бежал, спотыкаясь, к служебному телефону на пульте, и его пальцы, привыкшие к тонкой работе с проводами, дрожали так, что он трижды промахнулся, набирая короткий номер своей смены. Когда на том конце наконец взяли трубку, он,

задыхаясь, выпалил лишь: «Тоннель... у ниши... там... там нелюдь какая-то... мёртвые сидят...» Он не мог подобрать слов. Как описать это? Как описать запах формалина в метро?

Через сорок минут тоннель был оцеплен. Мигалки трёх милицейских машин отбрасывали на стены синие сполохи, смешиваясь с жёлтым светом аварийных фонарей. Первые оперативники, войдя внутрь, замерли на пороге ниши с таким же неммым шоком, что и Петрович. Только их шок был профессиональным, отягощённым знанием. Они видели фотографии. Они слышали легенды. Один из старших, седой капитан, увидев газету-лицо, тихо выругался: «Мать честная... Да не может быть...»

Именно он позвонил не просто в дежурную часть, а напрямую в уголовный розыск ГУВД. Дежурный по ОУР, молодой лейтенант, выслушав сбивчивый, полный ужаса доклад, побледнел как полотно. Он не стал ничего решать сам. Он передал трубку начальнику смены, подполковнику Семенову.

Семенов, который пять лет назад сам выносил из горящего кинотеатра обожжённых заложников, выслушал молча. Его лицо, за пять лет обросшее морщинами и усталостью, не дрогнуло. Но костяшки пальцев, сжимавших трубку, побелели.

– Передай на место: НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ. Ждать меня и... ждать Громова. Никаких фотографов из прессы. Оцепление удвоить. Понял?

– Товарищ подполковник, а кто... что это?

– Это, – с трудом выдавил Семенов, – похоже, чья-то очень большая и очень чёрная шутка. Или кошмар наяву. Сидите и ждите.

В ту ночь Андрей Громов, уже полковник и начальник отдела по розыску пропавших детей, проснулся от собственного крика. Пять лет ему снился один и тот же сон с небольшими вариациями: горящий зал, искры, падающие на лицо, восковое, безразличное лицо Антона Воронцова, смотрящее на него сквозь завесу пламени не глазами, а двумя чёрными, бездонными провалами. И тихий, шипящий, как утекающий газ, шёпот, который он слышал не ушами, а прямо в мозг: «Ничего не кончается, майор. Всё только... приобретает окончательную форму».

Он сел на кровати, обхватив голову крупными, сильными руками, на которых всё ещё виднелся шрам от ожога. Сердце колотилось как у загнанного зверя. Он сделал несколько глубоких, дрожащих вдохов, пытаясь вдохнуть реальность: знакомый силуэт комода, тень от уличного фонаря на занавеске, ровное, спокойное дыхание Анны рядом. Она спала, её лицо в полумраке было безмятежным. В соседней комнате – уже почти взрослеющий, почти не нуждающийся в ночных проверках Саша. Всё было на своих местах. Мир был цел.

«Всё кончено, – сурово, почти злобно прошипел он себе в темноту, пытаясь заглушить панический звон в ушах. – Это просто работа. Нервы. Старые шрамы. Призраки. Их не бы-

вает».

Он потянулся к тумбочке за сигаретой, хотя бросил курить два года назад по настоянию Анны. Рука наткнулась на стакан с водой. Он сделал несколько глотков, ледяная влага немного прочистила сознание. Это был просто сон. Обычная посттравма. Он выиграл. Монстр заточён. Жизнь продолжается.

Ровно через час, когда первые признаки рассвета уже начали синеть за окнами, его служебный телефон, лежавший в прихожей на полке для ключей, разорвался отчаянной, не терпящей возражений трелью. Такой звонок означал только одно – ЧП высшего порядка. Сердце Громова, только-только успокоившееся, снова упало в пропасть. Он накинул халат и вышел в прихожую, чтобы не будить семью.

– Громов, – сказал он, и голос его прозвучал хрипло от недавнего крика.

На том конце провода несколько секунд царило молчание, полное такого напряжения, что его можно было потрогать. Потом раздался голос. Голос Семенова. Но это был не голос начальника смены, а голос того самого капитана, который когда-то полз вместе с ним по пыльному полу кинотеатра «Москва». В нём сочетались ужас, неловкость и какая-то детская растерянность.

– Андрей... – Семенов сглотнул. – Ты должен приехать. Сейчас же. На «Красные Ворота», служебный вход со стороны депо. Брось всё.

– Что случилось? Пропал ребёнок в метро? – автоматически спросил Громов, мозг цепляясь за привычные, рабочие категории.

– Не ребёнок, – голос Семенова сорвался. – Хуже. Нашли... инсталляцию. В тоннеле.

Слово «инсталляция» прозвучало в трубке с таким леденящим, почти священным ужасом, что Громову на мгновение показалось, будто температура в прихожей упала на десять градусов. Он молчал, не в силах выдать из себя звук.

– Андрей, ты меня слышишь? – зашептал Семенов, словно боялся, что его подслушают. – Там... там всё, как тогда. Лампа. Круг. Фигуры. И... запах. Этот самый запах. И на центральной... на ней газета с заголовком про Него. Про приговор.

Мир вокруг Громова не рухнул. Он не треснул и не развалился на куски. Он просто... застыл. Застыл, как прекрасная, ужасная фигура в формалине. Всё вокруг – коридор, вешалка, зеркало в темноте – потеряло объём, став плоской, безжизненной декорацией. Тишина, которую он пять лет методично, день за днём, заглушал шумом новой работы, смехом Саши, тихими разговорами с Анной, вернулась. Она ворвалась в него через телефонную трубку, заполнила уши, лёгкие, каждую клетку. И она звенела. Звенела тем самым леденящим, знакомым до тошноты, до физической боли камертоном, звуком абсолютного, эстетизированного безумия.

Он не помнил, что ответил Семенову. Не помнил, как

кчал трубку. Он стоял посреди тёмной прихожей, глядя в пустоту, и в голове, помимо его воли, крутилась одна-единственная мысль, простая, логичная и от этого совершенно невозможная, недопустимая, чудовищная: «Коллекция открывается вновь».

А где-то далеко, в лесу за городом, в палате № 13, под кайфом экспериментальных нейролептиков и пристальным взглядом молодого доктора, Антон Воронцов, казалось, спал. Но указательный палец его правой руки, лежавшей ладонью вверх, едва заметно, на миллиметр, дёрнулся. Как будто выводил в воздухе первую букву. Или ставил подпись под только что завершённой работой.

Глава 2. Слепок кошмара

Рассвет застал Громова в служебной «Волге», мчавшейся по пустынным улицам в сторону Комсомольской площади. В голове стучал навязчивый, идиотский ритм, под который складывались слова: не-может-быть, не-может-быть. Он пытался заглушить его логикой, профессиональным скепсисом. Подражатели. Маньяк-одиночка, вдохновлённый старой легендой. Чья-то больная, изощрённая шутка. Всё что угодно, только не то, о чём думал Семенов. Только не Он.

Но когда «Волга» резко затормозила у служебного входа в депо, и Громов, выходя, вдохнул холодный утренний воздух, его накрыло. Не запах. Ощущение. Та самая плотная, липкая атмосфера места, где не просто совершили преступление, а устроили представление. Она витала здесь, несмотря на милицееское оцепление, на суету оперативников. Как шлейф духов зла.

Его встретил Семенов. За пять лет он растолстел, лицо обрюзгло, но глаза сейчас были такими же выгоревшими и испуганными, как в ту ночь в кинотеатре.

– Андрей, – кивнул он, избегая прямого взгляда. – Пошли. Там... лучше один раз увидеть.

Они спустились по узкой служебной лестнице в тоннель. Жёлтый свет аварийных фонарей бросал длинные, уродливые тени. Гул вентиляции казался приглушённым, подавлен-

ным, будто само пространство затаило дыхание. Чем ближе они подходили к нише, тем сильнее становился тот самый сладковато-медицинский запах. У Громова свело желудок. Он узнал его. Не по памяти, а всем телом. Это был запах мастерской на ВДНХ. Запах его личного ада.

И вот она – ниша. За белым шнуром оцепления, за спинами замерших в почтительном ужасе оперативников.

Громов остановился в трёх шагах. Он смотрел не на детали – на чучело, на куклу, на газету. Он смотрел на композицию в целом. И его охватило странное, двойственное чувство. С одной стороны – леденящий душу ужас узнавания. Силь. Скрупулёзность. Эта безупречная, театральная выверенность. Та самая «режиссура», о которой он когда-то читал в заключениях психиатров. Это была не копия. Это был почерк.

Но было и другое. Что-то... вторичное. Как будто слишком старательное. Слишком буквальное. Идеальный круг из извести – у Антона были более изящные, многослойные решения. Газета на лице – это был крик, плакат. Антон предпочитал намёк, многослойность, игру. Здесь же была прямая, грубая цитата. Как если бы очень талантливый, но не гениальный ученик старательно повторил приём учителя.

«Подражатель», – пронеслось в голове Громова, и это принесло минутное, слабое облегчение. Но тут же накатила новая волна холода. Подражатель, знающий такие детали? Знающий про керосиновые лампы? Про формальдегидный за-

пах как часть «атмосферы»? Это был не просто фанат-одиночка. Это был кто-то, кто имел доступ к информации. К архивам дела. К свидетельствам. К... самому источнику?

– Никаких следов? – Громов обернулся к Семенову, и его собственный голос показался ему чужим, глухим.

– Ничего внятного. Тоннель ежедневно проходят десятки людей в спецовках. Пыль, грязь. На самих фигурах – перчатки, скорее всего. Работал аккуратно. Профессионал.

– Кто обнаружил?

– Электромеханик Петрович. В шоке. Уже даёт показания, но вряд ли что-то видел. Говорит, запах появился ещё днём.

– Значит, устанавливали ночью, когда движение поездов минимально, – механически констатировал Громов. – Или у него был доступ к служебному графику. Или... он здесь работает.

Он сделал шаг вперёд, переступил через шнур. Оперативники расступились. Запах ударил в полную силу. Громов подошёл вплотную к кругу из извести, но не пересёк его. Он смотрел на газетное лицо. Заголовок кричал ему о победе, которая теперь выглядела насмешкой.

– Вечное заточение, – тихо прочёл он вслух. – Ирония. Или намёк.

– Намёк на что? – спросил Семенов.

– На то, что заточение не сработало, – без интонации ответил Громов. – «Я здесь. Я всё ещё здесь». Или... «Он всё

ещё здесь».

Он обернулся, окинул взглядом тоннель. Его взгляд упал на нарисованные на стене тени-зрители. И вдруг он понял. Это не просто тени. Это силуэты, скопированные с фотографий из зала суда. Там, на третьем ряду, была узнаваемая фигура в шляпе – репортёрша из «Московского комсомольца». Рядом – сутулый силуэт отца одной из жертв. Таксидермист не просто воссоздавал свой стиль. Он воссоздавал конкретный момент. Суд. Свой триумф и своё поражение. Он устраивал спектакль-напоминание. Или спектакль-месть.

– Нужно запросить все архивы по делу Воронцова, – сказал Громов, уже отходя от ниши. Ему физически не хватало воздуха. – Всех, кто имел к ним доступ: следователей, архивариусов, студентов, писавших диссертации. И... всех, кто посещал его в «Покровской». Врачей, санитаров.

– Андрей, ты думаешь, кто-то из своих? – Семенов понизил голос.

– Я думаю, что эта штука сделана не снаружи, – Громов ткнул пальцем в сторону композиции. – Она сделана изнутри. Из знания. Тот, кто это сделал, знал не то, что все читали в газетах. Он знал детали, в курсе которых были только мы... и Он.

Он снова посмотрел на газетное лицо. И ему показалось, что под смятыми слоями бумаги, прямо в центре, где должен быть рот, кто-то прорезал маленькую, аккуратную дырочку. Как будто для дыхания. Или как будто тот, кто внутри, тихо

смеялся.

В тот же день, за сотню километров от Москвы, в кабинете начальника медицинской части «Покровской-Специальной» стояла тяжёлая, гнетущая тишина. Доктор Светлов смотрел на молодого коллегу, Артёма Климова, с выражением глубокой усталости и подозрения.

– Повтори, – попросил Светлов без эмоций.

– Я прошу разрешения на серию нестандартных сеансов с пациентом Воронцовым А.В., – чётко, как на защите диссертации, повторил Артём. Внутри всё дрожало, но голос не подвёл. – В рамках моей исследовательской работы. Невербальная коммуникация через тактильные и визуальные стимулы. Цель – попытка выявления остаточной когнитивной активности, выхода из кататонического ступора.

– Через «тактильные стимулы»? – Светлов снял очки и принялся протирать их галстуком. – Ты хочешь его трогать? Водить его за ручку? Климов, ты в своём уме? Это не пациент, это особо опасный объект. Тут протокол, а не площадка для твоих экспериментов.

– Но текущий протокол ведёт лишь к дальнейшей деградации! – в голосе Артёма прорвалась страсть. – Мы не лечим, мы консервируем. Я наблюдал микрореакции. Еле уловимые изменения в мимике, движение пальцев...

– Галлюцинации на почве профессионального выгорания, – мрачно констатировал Светлов. – Послушай, парень. Я тебя понимаю. Молодой, хочешь подвиг. Но этот... этот чело-

век – не поле для подвигов. Он чёрная дыра. Он высосет из тебя всё, а сам не изменится ни на йоту. Ты читал его дело? Ты понимаешь, с кем хочешь играть в доктора?

– Я понимаю, что он человек, – упрямо сказал Артём. – И у него есть болезнь. А моя задача – болезнь лечить.

Светлов тяжело вздохнул и надел очки. Его взгляд стал непроницаемым.

– Разрешение не дам. Приказ сверху – никаких вольностей. Особенно сейчас.

– Особенно сейчас? Почему? – насторожился Артём.

Светлов помедлил, раздумывая, стоит ли говорить.

– Сегодня звонили из Москвы. Из ГУВД. Запрос о посещениях. Официальный. Что-то случилось. Что-то связанное со старыми делами Воронцова. Так что, доктор Климов, – он отчеканил каждое слово, – никаких сеансов. Никаких стимулов. Только наблюдение и протокол. Понял? Если я замечу малейшее отклонение, отправишься ты сам напрямиком в палату для персонала с нервным срывом. А теперь иди.

Артём вышел, чувствуя, как гнев и разочарование клубком подкатывают к горлу. «Что-то случилось». Эти слова, вместо того чтобы остановить, лишь подлили масла в огонь его одержимости. Если «что-то случилось» там, на воле, и это связано с Воронцовым, то его состояние здесь, внутри, может быть ключом. Окно. Он не мог просто наблюдать. Он должен был действовать.

Вечером, в нарушение всех приказов, он снова вошёл в

палату № 13. Не с камнем. С простым белым листом бумаги и угольным карандашом. Он сел на стул у койки, вне зоны досягаемости, даже если бы пациент вдруг ожил.

– Меня зовут Артём, – тихо сказал он. – Сегодня со мной говорили. Запретили с вами работать. Значит, я делаю что-то правильно. Значит, вы реагируете. Или кто-то боится, что вы отреагируете.

Он положил лист бумаги на тумбочку, карандаш рядом.

– Я не прошу вас говорить. Я даже не прошу вас смотреть. Но если вы... если там, внутри, есть хоть капля желания что-то сказать, показать, оставить след... вот инструмент. Бумага. Уголь. Они нейтральны. Они ждут формы.

Он встал и вышел, оставив лист и карандаш на виду. Он не надеялся на чудо. Он надеялся на чудовище. И на его неизбежную потребность творить.

А в Москве, в своей мастерской-квартире на окраине, Алиса Котова смотрела на экран старого телевизора, где бесстрастный диктор читал новости о «странной инсталляции, обнаруженной в метро, вероятно, рук радикальных художников». Уголки губ тронули едва заметная, кривая улыбка. «Радикальные художники». Какое смешное, неуклюжее слово.

Она подошла к мольберту, на котором стояла почти законченная гравюра – жук-скарабей, катящий шар, в котором, при ближайшем рассмотрении, угадывались черты человеческого черепа. Она взяла резец, поправила тень. Её ру-

ки были спокойны. Но внутри, в том холодном, ясном пространстве, где она всегда анализировала мир, что-то щёлкнуло.

Она знала про «Красные Ворота». Не из новостей. У неё были свои каналы. Старые, полузабытые связи из мира теневого искусства, коллекционеров, маргиналов, которые до сих пор перешёптывались о «Наследии Тишины». Кто-то увидел, кто-то позвонил, кто-то, захлёбываясь от восторга и ужаса, описал. Она слушала и понимала: это не оно. Это эхо. Но эхо слишком точное. Слишком... информированное.

Она положила резец. Её кварцевые глаза уставились в окно, на тёмный двор. Антон был в крепости. Его сознание – под пудом химии. Это не мог быть он. Но это было его послание. Его стиль, пропущенный через призму чьего-то другого, более грубого восприятия. Кто-то пытался говорить его голосом.

И самое интересное было не это. Самое интересное было то, зачем. Простое подражание? Сомнительно. Провокация? Возможно. Но была и третья версия, которая заставляла её холодный разум работать с лихорадочной скоростью. А что если это... приглашение? Сигнал? Не миру. Ей. Или тому, кто его охраняет. Сигнал о том, что идея жива. Что музей готовится к открытию нового зала.

Она подошла к книжной полке, сняла тот самый синий том «Энтомология тишины». Провела пальцем по тиснёной бабочке на обложке. Пять лет тишины. Пять лет работы над

насекомыми, над метафорой, над искуплением через красоту. И вот теперь это эхо. Оно било точно в ту незажившую часть её души, где жили не раскаяние, а ностальгия по тому самому, всепоглощающему совместному творчеству, по тому экстазу созидания, когда этика была лишь абстракцией.

Она закрыла книгу. Завтра она напишет письмо. Старое, на бумаге, в конверте. По тому адресу, который дал ей когда-то адвокат, сказав: «Если вам когда-нибудь понадобится связаться... по поводу прошлого». Адрес доктора из «Покровской», того, который привёз ей «Диалог». Она не знала его имени. Но она знала, что он – щель в стене. И, возможно, он знает, что происходит с тем, кто сидел за этой стеной.

Три линии начали сходиться. Громов, качающийся на грани срыва, вглядывающийся в слепок старого кошмара. Артём, нарушающий запреты, чтобы достучаться до молчаливого пациента в палате № 13. И Алиса, услышавшая в эхо зов, от которого заныла давно забытая мускулатура души. Их пути ещё не пересеклись. Но магнитная буря, источник которой дремал в лечебнице, уже начала сводить их стрелки. И первой жертвой этой бури, как предчувствовал Громов, станет не чья-то чужая жизнь, а его собственный, хрупко выстроенный за пять лет покой.

Глава 3. Тихий звонок в стекло

Офис Громова на Петровке казался убежищем только на первый взгляд. Стеклянная стена, за которой копошились оперативники, напоминала ему теперь не о контроле, а об аквариуме, где он – крупная, медлительная рыба, за которой наблюдают. На столе перед ним лежали распечатки: список персонала «Покровской-Специальной» за последний год, архивные фотографии инсталляций Воронцова (чёрно-белые, но от этого не менее жуткие), свежие снимки с «Красных Ворот».

Он сравнивал. Придирчиво, дотошно, как патологоанатом. Вот «Читатель» из первой серии – изящный, почти нежный, с трагизмом в позе. А вот «бомж» из метро – грубый, плакатный, с бутылкой в руке. Разная степень мастерства? Или разный посыл? Антон работал с вечностью, с философией. Этот... работал с социальной сатирой, с конкретным «приговором» обществу. «Вот вам ваше отребье. Вот вам ваша система правосудия». Это был другой голос. Но использовал те же инструменты.

Дверь открылась без стука. Вошла Анна. Она не была в его кабинете года три – с тех пор как принесла ему забытые дома документы. Она работала в своём НИИ, и их миры старательно не пересекались. Её появление здесь, среди бела дня, было тревожнее любого звонка от Семенова.

– Андрей, – сказала она тихо, закрывая дверь. – Ты не приходил ночевать. Саша звонил тебе шесть раз. Я сказала, что у тебя срочное совещание. Что происходит?

Он не ответил. Просто отодвинул от себя фотографию газетного лица.

– Это что? – Анна подошла ближе, взгляд её скользнул по снимкам. Он увидел, как её лицо, всегда такое спокойное и сосредоточенное, медленно теряет цвет. Она узнала. Не конкретную работу. Стиль. Атмосферу. – О, Боже... Это же...

– Не он, – резко перебил Громов. – Подражатель. Копиист.

– Но как он... откуда он знает такие детали? Лампу? Круг?

– Вот в этом и вопрос, – Громов откинулся на стуле, потеряв переносицу. Голова гудела от бессонницы и кофе. – Кто-то имеет доступ. К архивам. К... нему.

Слово «к нему» повисло в воздухе тяжёлым, ядовитым облаком. Анна села в кресло для посетителей, будто у неё подкосились ноги.

– И что теперь? Ты снова в этом... в этой яме?

– Я должен это остановить, пока это не стало эпидемией, – сказал он, но в его голосе не было прежней уверенности, только усталая обязанность. – Пока... пока Саша не начал опять бояться выходить на улицу.

– Саша уже боится, – тихо сказала Анна. – Он не говорит. Но он видит, как ты смотришь в окно. Как ты вздрагиваешь от телефона. Он всё помнит, Андрей. Пусть и смутно. И сейчас это возвращается.

В её словах не было упрёка. Только констатация медицинского факта. И от этого было в тысячу раз больше.

– Я знаю, – прошептал он. – Я знаю. Я постараюсь... отгородить это. Не приносить домой.

– Это не мусор, который можно оставить у порога, Андрей. Это инфекция. И она уже внутри дома. Потому что она внутри тебя.

Она встала, подошла к столу, положила руку на его сжатый кулак. Прикосновение было тёплым и бесконечно далёким.

– Я не прошу тебя бросить дело. Я знаю, ты не сможешь. Но... найди того, кто реально это сделал. Не призрака. Не Антона. Реального человека с молотком и гвоздями. И закрой это. Навсегда. Иначе... – она не договорила, но он понял. Иначе он потеряет их. Или они потеряют его в этом новом витке кошмара.

После её ухода в кабинете запахло её духами – лёгкими, цветочными, абсолютно чуждыми запаху формалина и старой бумаги. Громов взял список персонала «Покровской». Молодой врач-ординатор, Артём Климов. Диссертация по реабилитации тяжёлых кататоников. Интересно. Слишком интересно.

Артём Климов нарушал правило номер два (после «не входить без усиленной бригады»). Он находился в палате № 13 ночью, во время своего дежурства. На стуле, в метре от койки. В руках он держал не медицинскую карту, а тонкую

папку с репродукциями. Не анатомическими атласами. Художественными репродукциями. Дюрер. «Руки молящегося». Эшер. «Рисующие руки». На полголоса, монотонно, как читают лекцию, он описывал их.

– ...видите, здесь мастерство не в том, чтобы изобразить жизнь, а в том, чтобы изобразить процесс изображения. Рука рисует руку, которая могла бы её нарисовать. Бесконечная рекурсия. Замкнутая система. Совершенная форма, порождающая саму себя.

На койке – никакой реакции. Но Артём научился видеть не движение, а его отсутствие. И сейчас он заметил, что обычная, расслабленная неподвижность Воронцова сменилась на другую – натянутую, собранную. Как струна перед ударом.

Он медленно положил папку на тумбочку, рядом с тем самым листом бумаги и углём, которые лежали нетронутыми уже два дня.

– Сегодня в новостях говорили о произведении искусства в метро, – сказал Артём, меняя тактику. Голос оставался ровным, но внутри всё сжалось. – Очень... своеобразном. Кто-то явно вдохновлялся определённой эстетикой. Вашей, если можно так выразиться. Только более... прямолинейно. Грубовато.

Он сделал паузу, вглядываясь в лицо пациента. Веки, как всегда, полуприкрыты. Но... была ли там, под тонкой кожей век, едва уловимая дрожь?

– Интересно, – продолжил Артём, рискуя, переходя грань, – если бы вы могли оценить... что бы вы сказали? Как мастер о работе ученика? Как художник о пародии?

Тишина. Только тиканье часов Артёма и далёкий гул больницы.

И тогда он это увидел. Не движение руки. Не взгляд. Ресницы на левом веке Антона Воронцова. Они дрогнули. Один раз. Резко, отрывисто, как будто в ответ на щелчок. Это не было рефлексом. Это было микро-сокращение, такое же контролируемое, как вздох.

Сердце Артёма заколотилось где-то в горле. Контакт. Прямой, недвусмысленный, пусть и микроскопический контакт. Его метод работал. Он не просто достучался до крепости. Он получил условный сигнал из амбразуры.

– Вы... слышите меня, – не спросил, а констатировал Артём, и его голос впервые дрогнул. – Вы понимаете.

Он замер, ожидая большего. Но ничего не последовало. Только эта одна, одинокая дрожь ресниц, которая могла быть и игрой света, и случайным спазмом. Но Артём знал. Он ВИДЕЛ.

Он встал, его колени вдруг стали ватными. Он подошёл к двери, затем обернулся.

– Завтра, – пообещал он тихо, но твёрдо. – Завтра мы попробуем что-нибудь другое.

Выйдя в коридор, он прислонился к холодной бетонной стене, пытаясь перевести дыхание. Триумф смешивался с ле-

денящим ужасом. Он разговаривал с монстром. И монстр отвечал. Что он должен был делать дальше? Доложить Светлову? Но тот запретил. Прекратить? Но это было бы предательством науки, да и самого пациента... Да, пациента. Он должен был помнить, что это пациент. А не демон, не гений, не миф. Больной человек.

Но в том, как дрогнула та ресница, было нечто большее, чем симптом. Была воля. Было намерение. Была игра.

Игра, в которую Артём только что вступил. Не зная ни правил, ни целей. И ужас заключался в том, что эта игра ему начинала нравиться.

Письмо пришло в «Покровскую» на имя «Доктору, курирующему пациента Воронцова А.В.» на следующий день. Конверт был простой, без обратного адреса, почерк – чёткий, угловатый, безличный. Его вскрыл Светлов. Прочёл. Его лицо, и без того серое, стало землистым. Он долго сидел, глядя на единственную строчку, написанную на чистом листе: «Вопрос о подлинности новой работы требует консультации с первоисточником. Готова оказать содействие. А.К.»

Он знал, кто такая А.К. Её дело лежало в том же сейфе, что и дело Воронцова. Соучастница. Муза. Та, что вышла и... занимается искусством. Светлову было плевать на искусство. Он ненавидел проблемы. А это письмо было проблемой с атомной бомбой внутри.

Он порвал письмо на мелкие кусочки и сжёг их в металлической урне. Потом вызвал к себе Артёма Климова.

– Ты вёл какие-либо беседы о нашем спецконтингенте на стороне? – спросил он без предисловий, впиваясь в молодого врача взглядом.

– Нет, – искренне удивился Артём. – Конечно, нет. Это же запрещено.

– Получал странные звонки? Письма?

– Нет. Что случилось?

Светлов смотрел на него, пытаясь уловить ложь. Но видел лишь недоумение и ту самую опасную искру энтузиазма.

– Ничего не случилось. Просто напоминаю: абсолютная секретность. Ни слова о Воронцове, его состоянии, методах работы. Ты понял? Одно неверное слово – и не только карьера, но и твоя свобода окажутся под вопросом. Его дело... оно не закрыто. Оно спит. И будить его никому не позволено.

После этого разговора Артём вернулся в палату № 13 не с репродукциями, а с другим предметом. Мягким, тёплым комком шерсти. Это был обычный носок, тёмно-серый. Он положил его на край койки, рядом с рукой Воронцова.

– Это – текстура, – сказал он. – Шерсть. Она тёплая. Она живая. В отличие от камня. В отличие от бумаги. Потрогайте.

Он сам взял руку пациента – холодную, вялую, с атрофированными мышцами – и легонько провёл её тыльной стороной по шерсти носка. Потом отпустил.

– Ваш выбор. Потрогать. Или нет.

Он вышел, оставив носок на койке. Он не надеялся на чу-

до. Он ждал осознанного выбора.

А когда вернулся через час, носок лежал не там, где он его оставил. Он был аккуратно сдвинут на пять сантиметров в сторону, к центру кровати. И сложен. Не скомкан. Сложен вдвое, ровно, уголок к уголку.

Рука Воронцова лежала на своём месте. Но на указательном пальце, на самом его кончике, зацепилась, едва заметная, серая шерстинка.

Артём осторожно поднял сложенный носок. Это был не рефлекс. Это был жест. Порядок. Действие по наведению порядка в предложенном материале. Самый примитивный, но абсолютно понятный ответ.

Он смотрел на сложенный носок, и его охватила странная, почти мистическая эйфория. Он не просто наладил контакт. Он получил диалог. Пусть на языке складывания ткани. Но это был язык. И он, Артём Климов, был, возможно, единственным человеком на земле, кто сейчас его понимал.

Он не видел в этом угрозы. Он видел победу. Победу медицины, человечности, своего упрямства над мёртвым, клиническим приговором. Он не думал о том, что разум, который учится складывать носки, когда-то научился складывать в странные позы человеческие тела. Он видел пациента. И пациент шёл навстречу.

Это была его роковая ошибка. И первый, невидимый шаг к той катастрофе, которая уже набирала обороты, звоня телефоном в кабинете полковника Громова, где тот, взяв труб-

ку, услышал сдавленный голос следователя из прокуратуры:

– Андрей Николаевич, вам нужно срочно приехать. Нашли ещё одну. На сей раз... в церкви. И там есть деталь. Та, которой не было раньше. Подпись.

Глава 4. Надпись на камне

Церковь была старой, полузаброшенной, стояла на отшибе за кольцевой дорогой, в районе, который Москва давно проглотила, но не переварила. Когда-то здесь была деревня, потом – рабочий посёлок, теперь – царство гаражей, складов и этой церквушки, которую десятилетиями собирались снести, но руки не доходили. Она была некрасивой, грубой, будто слепленной из глины и времени. Идеальное место для молчания. Или для нового высказывания.

Громова вело туда чувство, похожее на тошноту. Сообщение следователя: «Есть деталь. Та, которой не было раньше. Подпись». Эти слова звенели в ушах, заглушая даже рёв двигателя «Волги». Подпись. Художник, подписывающий работу. Маньяк, ставящий клеймо. Это был уже не просто подражатель. Это был автор, заявляющий права.

У церкви уже стояли машины. Не милицейские «копейки», а чёрные, форсированные «Волги» из прокуратуры и Следственного комитета. Значит, дело пошло по тяжёлой статье. Значит, кто-то наверху уже пронюхал и испугался. Легенда о Таксидермисте была как спящий вирус для карьеры любого высокого чина – стоило ей активизироваться, головы начинали лететь. Громов почувствовал, как вокруг него снова начинает сгущаться тот самый ядовитый политический туман, который он так ненавидел.

Его встретил молодой, болезненно-бледный следователь из прокуратуры по фамилии Орлов.

– Полковник Громов, спасибо, что приехали. Тут... вы нужны как специалист.

– Что нашли? – отрезал Громов, не глядя на него, направляясь к зияющему чёрным провалом дверному проёму церкви.

– Внутри. В основном помещении. Только, пожалуйста, будьте готовы...

Готовым быть было невозможно. Громов переступил порог, и его обдало холодом, более пронзительным, чем на улице. Это был не просто холод заброшенного здания. Это был холод склепа. И запах. Тот же самый. Формалин, трава, пыль. Но к нему примешивалось что-то новое – запах старого дерева, воска и... влажной земли.

Церковь была маленькой, одноглавой. Когда-то здесь были иконы, но их давно сняли или украли, оставив на стенах лишь тёмные, причудливые пятна, похожие на лики святых-теней. В центре, на том месте, где должен быть аналой, стояла композиция. И Громов понял, почему следователь сказал «будьте готовы».

Это был не просто набор предметов. Это была скульптурная группа. Три фигуры, вылепленные из глины. Настоящей, сырой, местами потрескавшейся при высыхании глины. Работа была грубой, примитивной, как древние идолы. Но в этой примитивности была дикая, первобытная сила.

Первая фигура – толстый, бесформенный человечек с головой, похожей на мешок с деньгами. В руках он сжимал не бутылку, а бутафорскую купюру, склеенную из газетных вырезок про финансовые пирамиды девяностых.

Вторая – худая, длинная, с лицом, напоминающим клюв хищной птицы. В её руках был стилизованный жезл, обмотанный колючей проволокой. Мент. Или судья.

А между ними, в центре, на коленях, с протянутыми вверх, как в мольбе, руками – третья фигура. Безликая, простая, как столб. Проситель. Жертва. Или – душа.

Но не это было самым страшным. Вокруг них, на полу, был выложен не круг из извести. Из обломков кирпича, щебня и того, что Громов с ужасом опознал как кости мелких животных (крыс, птиц), был выложен сложный, ломаный лабиринт. Путь, ведущий к фигурам и уходящий от них в разные стороны, в темноту углов церкви.

А на стене прямо за скульптурной группой, на том самом тёмном пятне от иконы, было начертано. Не краской. Чем-то острым, возможно, тем же обломком кирпича. Три символа, выведенные дрожащей, но уверенной рукой: «Т.V. → А.V.»

Громов замер. Его мозг лихорадочно расшифровывал. Т.V. Taxidermist? Таксидермист Воронцов? Стрелка. А.V. Anton Voroncov. Подпись. Но зачем стрелка? «От Таксидермиста – к Антону Воронцову»? Или... «Работа Таксидермиста, посвящённая Антону Воронцову»?

– Мы думаем, это инициалы автора и... посвящение, – ти-

хо сказал следователь Орлов, появившись рядом. – Т.В. – это он, Таксидермист. А V.A. – это Воронцову Антону. Он посвящает ему свои работы. Как ученик – учителю.

Громов медленно покачал головой.

– Нет. Не посвящает. Он их ему приписывает. Смотри. стрелка. «Это – от него». Он не подражает. Он... продолжает. От его имени. Он делает то, что, по его мнению, Антон Воронцов сделал бы сейчас. Социальную сатиру. Глиняных идолов современного ада.

Он подошёл ближе, не обращая внимания на предостерегающее мычание криминалистов. Запах глины и влаги бил в нос. Он наклонился над центральной фигурой. И увидел то, чего не было видно с первого раза. В груди у безликой глиняной фигуры, прямо в центре, была аккуратная, круглая дырочка. Как пулевое отверстие. А внутри, в темноте, что-то блестело. Громов достал фонарик, осветил.

Внутри полой глиняной груди лежал предмет. Маленький, тщательно отполированный до зеркального блеска камень. Речной голыш. Совершенно круглый. Как тот, что он когда-то нашёл на полу в палате Воронцова во время своего первого визита в «Покровскую». Лёд пробежал по его спине. Это был уже не просто стилистический намёк. Это была цитата. Прямая отсылка к чему-то очень личному, очень специфическому. К чему-то, что знал только он, Громов, и, возможно, тот, кто был в палате.

– Ничего не трогать! – резко бросил он через плечо. – Сфо-

тографировать это под всеми углами. Камень извлечь только в лаборатории. И... – он обернулся к Орлову, – мне нужен полный список всех, кто за последний год бывал в палате Воронцова. Все, без исключения. Врачи, санитары, уборщицы, чистильщики окон. И особенно – те, кто работает с ним сейчас. Молодой врач, Климов. Всё о нём.

Пока Громов отдавал распоряжения, его телефон завибрировал. СМС от Анны. Короткая: «Саша не пошёл в школу».

Мир сжался до размера этого текста на экране. Всё – и церковь, и глиняные идолы, и зловещая подпись – померкло перед этой одной фразой. Его сын, его мальчик, который начал наконец улыбаться, снова забился в угол своего страха. И виной тому был он. Не призрак Таксидермиста, а он сам, своей одержимостью, своим возвращением в этот кошмар.

Он сунул телефон в карман, чувствуя, как в груди что-то надламывается с тихим, чётким хрустом. Первая трещина.

Артём Климов не спал. Он сидел в своей крошечной комнате в общежитии для персонала и смотрел на сложенный носок, лежащий на столе перед ним как священный артефакт. Он провёл сегодня ещё два сеанса. Сперва – с кусочком меха. Потом – с холодной, гладкой поверхностью медицинского шпателя. Каждый раз – микрореакция. Сдвиг предмета на сантиметр. Поворот головы на миллиметр. Это была титаническая работа – растопить айсберг одним дыханием. Но айсберг таял.

Он был на вершине профессионального экстаза. Он не думал о том, что происходит за стенами лечебницы. Его мир сузился до палаты № 13 и тайного диалога, который там происходил. Он был Колумбом, открывавшим новый континент сознания. И ему было плевать, какие чудовища могут водиться в лесах этого континента.

Раздался резкий стук в дверь. Артём вздрогнул, судорожно накрыв носок книгой. На пороге стоял дежурный санитар, Муса, здоровенный детина с пустым взглядом.

– Тебя, доктор, к телефону. Начальник охраны. Срочно.

Сердце Артёма ёкнуло. Светлов? Узнал? Но нет, охрана.

Он спустился вниз, в комнату охраны, где пахло дешёвым табаком и потом. Начальник охраны, отставной майор, сурово кивнул на аппарат.

– Ты. Долго.

Артём взял трубку.

– Алло?

– Доктор Климов? – Голос в трубке был низким, мужским, без эмоций. – Говорит полковник Громов. ГУВД Москвы.

Артём почувствовал, как пол уходит из-под ног. Он прислонился к стене.

– Я... слушаю.

– Вы курируете пациента Воронцова Антона Воронцова?

– Я... один из врачей, да.

– Вам известны какие-либо контакты пациента с внешним миром? Письма? Посылки? Разговоры через стекло с кем-

либо, кроме персонала?

– Нет, конечно нет! – голос Артёма дрогнул. – Он в кататоническом ступоре. Он не говорит, не пишет...

– Он двигается? – резко перебил Громов.

Артём замолчал. Его язык прилип к нёбу. Признаться? Но это будет нарушением приказа Светлова. Солгать? Но это следователю...

– Доктор Климов, я задаю вам прямой вопрос по уголовному делу. Двигается ли пациент?

– Он... у него бывают микродвижения. Рефлекторные. В рамках заболевания, – выдавил Артём.

– Микродвижения, – голос в трубке стал ледяным. – Достаточные, чтобы, скажем, сдвинуть предмет? Сложить ткань?

Тишина в трубке стала густой, как смола. Артём понял, что его уже раскусили. Кто-то видел. Или догадался.

– Я... я провожу легальные терапевтические сеансы, утверждённые...

– Утверждённые кем? Доктором Светловым? – Громов коротко, без юмора рассмеялся. – Не вешайте мне лапшу на уши, доктор. Вы играете с огнём. И вы раздуваете тот самый огонь, который мы пытаемся потушить здесь, в Москве. Завтра к вам приедут мои люди для официального допроса. И если я узнаю, что вы скрыли хоть что-то... вы очень пожалеете. Поняли?

Щелчок в трубке. Разговор был окончен.

Артём медленно опустил трубку. Рука дрожала. Страх, холодный и липкий, заполз ему в живот. Но следом за страхом, предательски, пришло другое чувство. Возмущение. Кто этот полковник, чтобы вмешиваться в его работу? Чтобы пугать его? Он, Артём, совершает прорыв! Он спасает человека из пучины безумия! А этот мент видит во всём только угрозу.

Он вышел из комнаты охраны, и его взгляд сам потянулся в сторону корпуса «А», где была палата № 13. Там, за бетоном и решётками, лежал разум, который начинал просыпаться. Разум, который, возможно, и был тем самым «огнём». Но для Артёма это был не огонь разрушения. Это был свет. Свет сознания, которое он вызволил из тьмы. И он, честный перед собой, признал: ему было всё равно, что это за сознание. Ему было важно, что оно ОТВЕЧАЕТ.

Он решил не ждать завтра. Он решил действовать сегодня. Ночью. Ему нужно было получить более веское доказательство прогресса. Не просто сложенный носок. Нечто большее. Чтобы, когда приедут эти менты, он мог тыкнуть им в лицо результатами и сказать: «Вот что вы хотите пресечь? Возвращение человека к жизни?»

Это решение было последней каплей. Роковым поворотом, который направлял хрупкую лодку их общего безумия прямо в стремнину.

Алиса получила ответ не по почте. К ней в квартиру позвонили. Коротко, два раза. Она подошла к глазку – нико-

го. На полу лежал простой конверт. В нём – ключ. Металлический, холодный, без опознавательных знаков. И обрывок карты Москвы. На ней была обведена кругом станция метро недалеко от «Красных Ворот» и надпись шариковой ручкой: «Камера хранения. Ячейка 13. Завтра. 18:00.»

Она не знала, от кого ключ. Но цифра 13 была слишком красноречивой. Алиса не верила в совпадения.

Она поехала на метро, чувствуя себя героиней дешёвого шпионского романа. Камера хранения была старой, с ржавыми ячейками. Ключ подошёл. Дверца ячейки № 13 скрипнула открылась.

Внутри не было ни взрывчатки, ни денег. Лежала папка. Обычная, картонная. Алиса взяла её, закрыла ячейку и ушла в ближайшее кафе, заказала кофе и села в углу.

В папке были фотографии. Не любительские, а качественные, с разных ракурсов. Те самые инсталляции. «Красные Ворота». И новая – глиняные фигуры в церкви. Кто-то сфотографировал их ДО того, как туда приехала милиция. Значит, фотограф либо был соавтором, либо успел первым на место преступления.

Алиса смотрела на снимки не как на криминал, а как на искусство. Да, стилизация. Да, вторичность. Но в этой вторичности была своя, злая энергия. Это был не просто повтор – это была интерпретация. Тот, кто это делал, не просто хотел быть как Антон. Он хотел сказать что-то СВОЁ, но языком Антона. Это была дерзость. И в этой дерзости ей чудил-

ся... вызов. И, разглядывая фотографию церкви, она увидела то, что не сразу бросалось в глаза. На стене, чуть в стороне от основной подписи «Т.V. → А.V.», в трещине между кирпичами, кто-то оставил ещё один знак. Крошечный, почти невидимый. Она достала лупу, которую носила для работы над гравюрами.

Это был не символ. Это было насекомое. Стилизованное, но узнаваемое. Муравей. Такого же типа, как на одной из её гравюр в «Энтомологии тишины». Муравей, несущий свою ношу.

Её кварцевые глаза сузились. Это было уже не просто послание. Это был диалог. С ней. Кто-то знал её работы. Кто-то видел её книгу. И вставил эту отсылку, как пароль.

Она медленно сложила фотографии. Кто бы это ни был, он втягивал её в игру. Игра была опасной. И Алиса, к своему удивлению, поняла, что ей не хочется отказываться. Пять лет тишины, пять лет искупления через абстракцию – и вот снова запахло настоящим, живым, рискованным делом. Не убийством. Нет. Но тайной. Интригой. Возможностью снова прикоснуться к той энергии, что когда-то заставляла её сердце биться чаще не от страха, а от восторга творческого соучастия.

Она выпила холодный кофе и улыбнулась самой себе, криво, без радости. Возвращение было невозможно. Но соблазн оказаться на краю снова был слишком силён.

Три линии уже не просто сходились. Они начали перепле-

таться в тугой, опасный узел. А в центре этого узла, в своей палате-крепости, Антон Воронцов, ведомый руками наивного доктора, медленно, миллиметр за миллиметром, открывал глаза. Не физические. Те, что внутри. И в их темноте уже зарождался план. Не его план. План того, кем он был. И первым шагом этого плана было – научиться держать карандаш.

Глава 5. Первая линия на бумаге

К Артёму Климову приехали не на следующий день. Через три часа после полуночи. Он дремал на дежурном кресле у поста медсестры, когда тяжёлые шаги в почти пустом коридоре заставили его вздрогнуть и открыть глаза.

Их было двое. Не в милицейской форме, в штатском. Но по осанке, по взгляду, по тому, как они бегло окинули взглядом пространство, было ясно – силовики. Старший, лет сорока пяти, с усталым, испещрённым морщинами лицом и холодными глазами, представился подполковником Семеновым. Молодой, с каменным выражением, просто назвался капитаном.

– Доктор Климов? – спросил Семенов без предисловий. – Мы по поручению полковника Громова. Нужно поговорить. И посмотреть.

– Сейчас ночь, – попытался возразить Артём, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. – Пациенты спят. Можно утром...

– Мы не к пациентам. К вам, – Семенов мягко, но неумолимо взял его под локоть и повёл в сторону пустующей процедурной. Капитан шёл следом, загораживая выход. Дверь закрылась с тихим щелчком.

Процедурная пахла спиртом и стрессом. Семенов не сел. Он стоял, упираясь руками в стол, покрытый клеёнкой.

– Рассказывайте, доктор. Что вы там делаете с Воронцовым?

– Я... провожу терапевтические сеансы. По специальной методике, – начал заученную фразу Артём, но Семенов отрезал:

– Бросьте. Мы знаем про носок. Знаем про камень. Знаем, что вы с ним разговариваете. Наш психолог говорит, что это либо гениальный прорыв, либо преступная халатность, граничащая с пособничеством. Полковник Громов склоняется ко второму. Мне же интересно, к чему склоняетесь вы.

Артём почувствовал, как гнев поднимается у него из живота, смывая страх. Эти люди ничего не понимали в медицине! Они видели только угрозу.

– Я склоняюсь к тому, что спасаю человеческое сознание из состояния, которое вы, с позволения сказать, специалисты, считали безнадежным! – выпалил он, и голос его задрожал от эмоций. – Да, он двигается! Да, он реагирует! Он складывает ткань, отодвигает предметы! Это не рефлексы – это осознанные микродействия! Он выходит из ступора!

– И что он делает, выходя из ступора? – тихо спросил Семенов. – О чём он думает, по-вашему? О том, как завтракать будет? Или о том, какую красивую композицию из городского отребья соорудить?

– Вы не имеете права! – Артём вскочил. – Он пациент! Он болен! А вы говорите о нём, как о... монстре!

– Потому что он и есть монстр, доктор, – без повышения

голоса сказал Семенов. – И ваша задача – держать монстра в клетке. А не учить его новым трюкам. Вы видели фотографии? С «Красных Ворот»? С церкви?

– Я... слышал в новостях, – сдавленно ответил Артём.

– Так вот, – Семенов достал из внутреннего кармана фотографию и швырнул её на стол. Это был крупный план подписи на стене: «Т.V. → А.V.» – Смотрите. Это про него. Это его ученик, его последователь, его... голос на воле. Кто-то делает это за него. Вдохновляется им. И мы имеем основания полагать, что источник вдохновения... стал чуть более доступен.

Артём смотрел на стрелку, и его разум лихорадочно работал. Ученик? Но как? Откуда связь?

– Вы думаете, он... передаёт что-то вовне? Но это невозможно! Он под круглосуточным наблюдением!

– Наблюдение обеспечиваете вы, доктор, – жёстко парировал Семенов. – И ваши «терапевтические сеансы». Кто знает, что происходит в палате, когда вы там одни? Может, вы не только носки ему складывать помогаете?

Это было уже слишком. Артём побледнел.

– Я протестую! Это клевета! Я требую присутствия администрации!

– Администрация в курсе, – холодно сказал капитан, впервые открыв рот. – Доктор Светлов дал добро на наш визит. С условием, что мы не будем мешать лечебному процессу. Так что давайте не будем мешать. Покажите нам палату.

Покажите, как проходит ваш «сеанс».

Это был тупик. Отказаться – значило признать вину. Согласиться – пустить волков в своё святилище, где он был богом, воскрешающим разум. Но выбора не было.

Он повёл их по ночному коридору. Дежурная медсестра испуганно смотрела им вслед. Дверь в палату № 13 открылась с привычным скрипом. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь тусклым ночным дежурным светильником. Антон Воронцов лежал в своей обычной позе. Казалось, ничего не изменилось.

– Вот, – с вызовом сказал Артём. – Видите? Всё как обычно.

– Обычно, – усмехнулся Семенов. Он подошёл к койке, внимательно, без спешки осматривая пациента, тумбочку, пол. Его взгляд зацепился за лист бумаги и карандаш, всё ещё лежавшие нетронутыми. – А это что?

– Материалы для сенсорной стимуляции.

– Стимуляции, – повторил Семенов. Он взял карандаш, покрутил в пальцах. – Интересно. А если я положу ему этот карандаш в руку... он его возьмёт?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.